Последние истории

Автор:
Ольга Токарчук

Последние истории

Ольга Токарчук

Литературные хиты: Коллекция

Ольга Токарчук обладает удивительным даром стирать границы – между странами и языками, между реальностью и вымыслом. Герои «Последних историй» стирают границы между бытием и небытием. Они постигают смерть, пытаясь подготовить себя к ней, примириться с ее существованием в финале каждой жизни. И, постигая смерть, они лучше понимают жизнь, потому что смерть – часть жизни.

Ольга Токарчук

Последние истории

Olga Tokarczuk

OSTATNIE hISTORIE

Copyright © Olga Tokarczuk, 2004

Перевод с польского Ирины Адельгейм

© И. Адельгейм, перевод на русский язык, 2020

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Часть I

Чистый край

1

На маленьких проселочных дорогах разметка зимой не видна. Лишь сдвинутые в стороны горы снега небрежными жирными штрихами очерчивают путь. Лучи фар вязнут в бесформенных обочинах, но открывают полукруг подвижной сцены, постоянно убегающей вперед в надежде отыскать наконец впотьмах своего актера. Дальний свет бесполезен, он извлекает из мрака одну только молочную зимнюю дымку, что нависает над миром.

«Застывшее дыхание трупа», – думает женщина за рулем; «дыхание трупа», оксюморон – слова противоречат друг другу, но вместе каким-то чудом приобретают смысл. Вот уже скоро большой перекресток, там она свернет направо, к югу, и наверняка отыщет на шоссе какой-нибудь мотель или пансионат. Пансионатов здесь полно, из темноты то и дело выныривают надписи: Freie Zimmer[1 - Свободные комнаты (нем.). (Здесь и далее – прим. перев.)], «Комнаты», «Агротуризм», намалеванные на досках, что прибиты к заборам или придорожным деревьям. Журчит радио, тянется какая-то вялая дискуссия, но женщина не слушает.

Справа вдруг возникает из тумана темное, выделяющееся на снегу пятно. Женщина осторожно тормозит, поворачивает голову и видит на обочине собаку.

Она лежит в мягкой снежной ямке, на боку, вытянув лапы, голова словно приподнята на подушке. Передняя лапа подогнута, пушистый хвост раскинулся веером. Вероятно, дворняжка, метис овчарки, но помельче, черный с подпалом, породы «судетское отродье», как здесь говорят. Пес кажется спящим – будто не устоял перед неожиданно возникшим во время прогулки непреодолимым желанием вздремнуть – здесь, сейчас, немедленно. Пришлось остановиться на бегу и наскоро устроить логово – в придорожном снегу, в метре от колес невнимательных автомобилей.

Фары на мгновение высвечивают пса, обнаруживают тайну внезапного сна и снова погружают в темноту.

Женщина прибавляет скорость, но напрасно, потому что дорога теперь идет под уклон; машина плывет по ней вниз, вот-вот оттолкнется от огромного трамплина и пустится в туманный ночной полет. Блаженное падение: сердце подпрыгивает, становится легким, невесомым. Женщина в упоении щурит глаза.

Справа из темноты появляется указатель «Бардо – Божков» – разводит умоляюще руками, будто настырный любитель ночного автостопа, – истерически требует от водителя принять решение. Быстрее, налево или направо, пан или пропал. Ну, давай же!

«Ничего не выйдет, дружок», – думает женщина. Дорога идет прямо, направление оптимальное и, если верить сказкам, самое надежное, путь наименьшего сопротивления, гарантированно ведущий к цели.

Сейчас начнется приличное шоссе, черное и твердое, прошитое по центру белой разметкой и посыпанное солью.

После обеда, когда, выехав из санатория, она спускалась по крутому серпантину в долину, ей пришлось остановиться перед самым поворотом – резким, скользким и опасным. Чтобы избавиться от наледи, асфальт не скупясь посолили. Дорогу перегородило стадо коров – не обращая ни малейшего внимания на гудки, они слизывали соль. Вид у них был спокойный и счастливый; мягкие замшевые веки опущены, взгляд упрятан за занавесью великолепных ресниц. Коровы лизали соль неспешно и серьезно – безучастно. В зимних металлических сумерках, посреди шоссе, это были уже не животные. Они казались существами, что шли к своему безразличию путем многолетних

медитаций. Какой-то человек, видимо хозяин, отчаянно пытался согнать коров с дороги и метался между ними, охаживая палкой костлявые зады, но они не боялись криков, а может, попросту не слышали. Образовалась пробка, сзади нетерпеливо сигналили, кто-то из водителей вышел и, увидав, что происходит, закурил. «Коровы лижут асфальт», – передавал он назад. Люди отнеслись к этой информации спокойно – ясно, мол, что тут такого. Переглядывались чуть насмешливо – коровы лижут соль… Потом принимались протирать окна, хлопать багажниками, звонить по сотовым. Спустя некоторое время животные очнулись и, словно даже устыдившись своей внезапной слабости и устроенного замешательства, не дожидаясь пастуха, затрусили куда-то вниз.

Ехать приятно, шины словно тоже лижут соленый асфальт. На спуске машина разогналась и теперь минует самую низкую точку. Женщина замечает торчащие из сугробов светоотражающие столбики и лишь в следующую минуту понимает, что это означает поворот. Но откуда он взялся? Знака не было, а может, его поглотил снег. Она судорожно выворачивает руль влево, но автомобиль не слушается, мчится вперед и на мгновение – кажется – действительно взлетает. Женщина ощущает бессильную мощь машины и удивляется – откуда она взяла, что управляет автомобилем; скорее их пути, их планы просто подчинялись геометрии случая, и лишь совпадение интересов заставляло двигаться в одном направлении и останавливаться на одних и тех же бензоколонках. Однако теперь дороги расходятся – задрав нос, взбунтовавшаяся машина, маленькая серебристая «хонда», взмывает с высокой насыпи. По радио как раз передают новости. Женщина не видит, что отрывается от земли, скорее чувствует. Фары устремлены в небо, а потому ничего не освещают. Продолжается это довольно долго, она даже начинает терять терпение – ну сколько можно, куда тут лететь? Еще она сознает, что ударилась головой о руль, внутри черепа раздается неприятный звук, словно с хрустом удаляют зуб. Но это длится всего мгновение.

* * *

Женщине без труда удается отстегнуть ремень и выскользнуть прямо в снег, но подняться она не в состоянии – падает на колени. Вытирает губы тыльной стороной ладони; рот наполняется густой и теплой жидкостью – должно быть, прикусила язык при ударе, так она думает. Стоящий на задних колесах автомобиль словно устремился к деревьям и теперь замер в безрассудном посягательстве техники на живое существо. Глаза его безжалостно освещают еловые ветви. Капот открыт – беззвучный крик ярости, а колеса беспомощно вращаются в воздухе все медленнее. По радио передают прогноз погоды.

Женщина протягивает руку назад и, несмотря на головокружение, вынимает ключ из замка зажигания. Сверкающие глаза гаснут. Делается вдруг темно, тихо и зябко. Ей кажется, что где-то в этой тьме простирается бесконечная голая равнина, по которой несется холодный ветер, не встречающий ни единой преграды – ни куста, ни деревца, ничего. Женщина чувствует, как его порывы грубо бьют ее по лицу. Пошатываясь, встает и идет наверх, к дороге.

Туман рассеивается, темнота теперь чистая, морозная, усыпана далекими огоньками звезд. Стоя на краю едва различимого шоссе, женщина поднимает голову – отыскивает созвездия, как учил отец – сперва Большую Медведицу, пять раз отмерить расстояние вверх: вот Полярная звезда и одновременно начало ручки Малой Медведицы. «А видишь в изгибе ручки, рядом с большой, маленькую звездочку – словно папа и дочка, ну что, видишь?» – «Да, вижу». – «Значит, ты могла бы стать воином, – говорит отец, – именно так арабы проверяли их зрение».

Она находит Орион и Кассиопею – геометрическую фигуру из сверкающих точек, множество линий, больших и маленьких, слагающихся в череды простых ритмов, и вдруг рождающиеся из них треугольники, многоугольники, неустойчивые трапеции и ромбы… Разве этого недостаточно? Неужели следует пояснять эти безупречные фигуры туманными, невразумительными сказками?

Шагая по обочине к вялым желтым огонькам, женщина отыскивает свое любимое созвездие – Волосы Вероники, маленький звездный венчик, – какие уж там волосы – разве что шиньон, паричок. Он кажется более удаленным от Земли, чем другие, игрушечный воздушный змей, по неосторожности забравшийся слишком высоко.

За поворотом еловый лес, окаймлявший дорогу, заканчивается, и женщина видит огни какого-то предместья; редкие поначалу пятна затем сливаются, образуя коричневатое свечение, прорезанное трубами, высокими, изящными ажурными строениями.

Добравшись до первых построек – тянущихся вдоль обочин длинных и низких складских помещений с неразборчивыми вывесками, бесконечными пандусами и широкими воротами, – женщина осознает, что вокруг совершенно тихо, словно глубокой ночью, и ни одна машина ей не встретилась.

Между складами она замечает улочку, что сворачивает вбок, к лесу. Под присмотром высоких фонарей – чудных, фиолетовых. Снег убран. Дальше дом, в окнах горит свет. Женщина не раздумывая направляется туда, продолжая размышлять о Волосах Вероники, о том, что она, в сущности, не знает, кто такая эта Вероника и как ее волосы попали на небо. Потом, оказавшись в сизом мареве фиолетовых светильников, слышит доносящийся от дома собачий лай. И идет в ту сторону.

Дом не похож на деревенский – скорее это заброшенный, затерявшийся на окраине маленький коттедж, двухэтажный, узкий, опоясанный верандами и пристройками. Быть может, архитектурный план предполагал целый квартал таких особняков, для людей побогаче, но что-то помешало осуществить эту затею – и остался один дом, отодвинутый к самой горе, к лесу, сиротливый, за которым наблюдают – издали, украдкой – невнятные, столь отличные от него топорные – карликовые и убогие – гаражи, бараки, мастерские и бог знает что еще. Между ними железнодорожные пути – прежде чем попасть на просторный двор, женщина пересекает их дважды, – но ветка, вероятно, заброшена; снег упразднил все цели и направления. Присутствие параллельных линий выдают лишь стрелки да редкие семафоры, которые торчат здесь подобно однoруким статуям, выставленным для гостей в знак приветствия.

За окнами виден слабый свет, как раз такой, какой она не любит, всегда навевающий необъяснимую печаль. Лампочка максимум сорок ватт, под самым потолком. Свет для самоубийц.

Откуда-то появляется пес, большой, белый, на спине несколько черных пятен – должно быть, это он только что лаял, но теперь молчит и только для порядка старательно ее обнюхивает, после чего, вздыхая, ведет к крыльцу. Женщина оказывается в темных сенях. Пока она нащупывает выключатель, пес царапает внутреннюю дверь.

– Уже? Ты же только что вышел, – укоризненно произносит женский голос.

Тонкая полоска света падает на пол, касается ног гостьи.

– Ох, – испуганно шепчет голос. – Кто здесь?

Женщина пытается встать так, чтобы попасть в щель света.

– Извините, пожалуйста, я заблудилась, заплутала. Попала в аварию, ехала в сторону Клодзко и вдруг слетела в кювет, ударилась. Решила, что лучше кого-нибудь поискать…

– Вы заходите, а то холодно.

Большая кухня, посредине стол, у стены высокий белый буфет. Из-за стола неохотно поднимается пожилой мужчина в надетой поверх пижамы полосатой безрукавке. Перед ним стоит маленькая болезненного вида женщина в выцветшем лоснящемся халате. Гостья еще раз путано объясняется, повторяя: машину оставила, упала в кювет, ехала в сторону Клодзко, такая чудесная ночь, и наконец про Волосы Вероники. Старики смотрят на нее странным взглядом, смысла которого она не понимает: печаль ли это, покой, усталость?

Маленькая женщина стоит перед ней, словно контролер в ожидании входного билета; лицо с мелкими чертами краснеет от порыва ледяного ветра, ворвавшегося в открытую дверь, или, наоборот, от жара, которым пышет раскаленная докрасна плита. Достает из кармана бумажный носовой платок.

– Садитесь, – говорит она. – У вас на губах кровь.

Осторожно, скупыми уверенными движениями вытирает гостье рот.

– Вы целы? Хотите чаю? – спрашивает старушка.

– Да, конечно, с удовольствием. Чаю, чего-нибудь…

Мужчина помогает ей снять куртку, аккуратно складывает шарф.

– Вы ушиблись? Где-нибудь болит?

Эти простые вопросы кажутся женщине сложными и нелепыми. Она набирает в легкие воздуха, но вместо слов из груди вырывается плач.

– Я ударилась, машина влетела в сугроб. Я выкарабкалась и пришла сюда. Наверное, все в порядке, вроде бы я цела, да? Все двигается, вот, смотрите, –

она улыбается и машет руками и ногами, словно Петрушка.

Хозяйка ставит перед ней стакан в узорном металлическом подстаканнике. Супруги усаживаются напротив.

– Погода такая. Легко заблудиться, – говорит мужчина и глядит в окно, в котором отражается сорокаваттная лампочка под круглым белым абажуром, лунный призрак.

– Зиме конца не видно.

– Завтра придет внук, он вас осмотрит. Наверху есть комнаты, переночуйте, сегодня уже поздно что-либо предпринимать. Надо только включить электрообогреватель, протопить, – добавляет старушка, глядя на мужа.

Тот накидывает толстую кофту и молча выходит. Чуть погодя на втором этаже раздаются его шаги. Стеклянная лампа под потолком слегка покачивается.

Старушка кладет руки на стол и неожиданно веселым голосом говорит:

– Я вам сразу признаюсь: у меня проблемы с памятью, так что по серьезным вопросам обращайтесь к нему, – она указывает подбородком на потолок. – Я хорошо помню, что случилось давно, например, во время войны, вот как мы сюда приехали, не забыла даже, сколько стоил хлеб сразу после освобождения. Ну скажи, детка, сколько? Вот видишь, а я знаю – двадцать грошей. Зато плохо помню, что было вчера. Это не та болезнь на «а», ну, в общем, которой все болеют. Просто старость.

– Хорошо, я буду иметь в виду.

Хозяйка вынимает из буфета початую бутылку водки и наливает немного в стакан с чаем.

– Это чтобы согреться, выпейте.

И добавляет:

– Меня зовут Ольга, а его, – она поднимает глаза кверху, – Стефан.

Женщина проглатывает горячий чай и хочет ответить – уже открывает рот, но обнаруживает, что голова заполнена холодным густым туманом. Она указывает на себя пальцем, тычет в грудь, чувствует прикосновение руки. Знает, что должна сосредоточиться, и тогда все вспомнит. Вот они, мысли, беспокойные головастики, клубятся совсем рядом. Это наверняка из-за удара, оттого ей так не по себе, словно в лунатическом сне, небось от сотрясения мозга мысли поломались и рассыпались, словно сосульки. Конечно, она вот-вот все припомнит, надо только постараться. Старушка смотрит внимательно, выжидающе. Но женщина устала, она пытается собрать мысли; слава богу, что-то отвлекает Ольгу от этого незаданного вопроса – хозяйка поднимается и отходит в угол. Там стоит плоский деревянный ящик, застланный бурым пледом, на котором лежит что-то черное и лохматое. Собака. Длинная шерсть напоминает веревки, шерстяные жгуты, толстые, спутанные, с колтунами, особенно на голове и на заду. Она тяжело дышит, постанывает. Вдвоем с Ольгой они склоняются над этим клочкастым темным пятном. В нос ударяет неприятный кислый запах. Собака словно чувствует присутствие людей – открывает глаз и бросает на них короткий взгляд. Непроницаемый, черный, глубокий, будто колодец, на дне которого можно разглядеть зеркальце подземной воды.

На лестнице женщина оступается. Старики подхватывают ее. Ведут в холодную, полупустую комнату. Здесь стоит приземистый шкаф, на нем фарфоровый бюстик девочки – светлые волосы перевязаны синей ленточкой; еще железная кровать и ветхое плетеное кресло, некогда белое, теперь пестрое. На полу хлопья краски – мебельная перхоть. Под окном дозревают на расстеленных газетах яблоки, почти не сморщившиеся, хотя уже конец февраля. Воздух гладкий и влажный, как их кожица. Электрообогреватель медленно приручает его.

Супруги что-то говорят, открывая шкаф (заполненный старыми, скользкими, лысыми одеялами), задергивая занавески, переставляя кувшинчик, поправляя салфетку на столике. Гостья уже не слушает. Она медленно и осторожно ложится на кровать, ощущая себя драгоценной фарфоровой статуэткой, которую следует хранить исключительно в горизонтальном положении, обернутой в паклю. Старушка заходит еще на секунду – приносит полотенце и застиранную фланелевую ночную рубашку.

– Ванная внизу, – тихо говорит она и растворяется в темноте, чтобы затем снова шептать, шелестеть и скрипеть, обмениваясь с мужем обрывками фраз, передвигая какие-то забытые стулья, щелкая выключателями, поворачивая в дверях ключи.

Она лежит навзничь, с закрытыми глазами. Надо принять снотворное. Заткнуть уши восковыми пробками, лечь на бок и подождать, пока начнут действовать таблетки, из которых прорастет во влажную тишину сон. Но таблеток нет и берушей тоже. Она кладет ладонь на грудь, привычно проверяя, бьется ли сердце. Тело твердое, сопротивляется давлению руки. «Твердое, как древо», – слышит она и видит себя, лет тринадцати, бегом спускающуюся с холма, в ситцевом платье с маками, которое мать, когда оно совсем износилось, пустила на тряпки; бежит навстречу девочкам – как их звали, Божена? Ядя? – к развалинам на берегу реки.

Кто-то их научил, но кто, неизвестно, видимо, это было очень давно. Потом старшие девочки показывали младшим. И всегда получалось.

Все собираются в кружок, опускаются на колени и молчат, пока это не покажется естественным и привычным, пока вообще не расхочется разговаривать. Потом каждая показывает на пальцах какое-нибудь число. Считаются. Та, на которую выпадает, ложится в центр круга и закрывает глаза.

Теперь они начинают трогать ее кончиками пальцев, сначала слегка, подушечками, затем нажимают все сильнее и повторяют: «Твердое, как доска, холодное, как лед, легкое, как перышко». И так без конца, вот они уже давят всей ладонью. Придавливают тело к земле, снова и снова твердя одно и то же: «как доска, как лед, как перышко», а потом, вдруг – это получается само собой, они знают, в какой момент надо заговорить:

Легкую, как перышко, Твердую, как древо, Понесем ее в могилу, Спящую царевну.

Твердую, как древо, Холодную, как льдышка, Положим ее в землю В гроб с тяжелой крышкой.

Твердую, как древо, Легкую, как перышко, Навсегда оставим здесь Черной ямы сторожем.

Кончики девчоночьих указательных пальцев поднимают твердое, застывшее, смертельно удивленное тело без малейших усилий, словно это полый стебелек, фигурка из пемзы или пенопласта.

Нет уж, лучше не попадать в этот круг; лучше двигаться самой, чем чтобы двигали тебя, лучше колдовать, чем поддаться заклятию, лучше быть живым, чем мертвым, пусть даже понарошку. А вдруг бы однажды какая-нибудь из них не очнулась от транса и навсегда осталась такой застывшей и отсутствующей, с закрытыми глазами, ни живая, ни мертвая? Вдруг бы не вернулась из этого путешествия и для других обратилась в предмет вроде отломанной ветки, камня в ручье? Но все они возвращаются. Садятся и моргают, нездешние.

Это выглядело забавно, поэтому остальные разражались смехом и игра заканчивалась. Та, что была в центре круга, шла домой последней, со смутным ощущением, будто ее использовали как случайного зрителя, которого гипнотизер вытащил на сцену и заставил выполнять дурацкие команды. Она нарочно отстает и дуется, но, когда девочки вместе спускаются в деревню, все уже в порядке, все изгнано из памяти.

Но на нее ни разу не выпало, так что она не знала, каково это – лежать в центре и становиться невесомой. Представляла себе это вроде сна. А сон редко бывает сплошным темным небытием, обычно в нем что-нибудь происходит, просто непохожее на то, что случается наяву. Невероятное оказывается очевидным, а время скачет и кувыркается. Так что, наверное, и знания тогда другие – ни к чему не пригодные, бесполезные. Может, и тело в центре круга, тело, которое способны поднять девчоночьи пальчики, ведет себя совершенно естественно, как и надо. Словно дыхание трупа: немыслимое, но логичное. Она снова чувствует на пальцах его вес, тяжесть, противоречащую себе самой – тяжесть и легкость одновременно.

Утром она просыпается сразу, резко – открывает глаза и видит серый свет, размазывающий морщины и трещины на потолке в однородную перламутровую массу. Должно быть, очень рано.

Она слышит, как хлопает дверь и с трудом заводится мотор. Долго хрипит, потом стихает. И так несколько раз; наконец, к ее облегчению, срабатывает, и звук постепенно удаляется.

Проснувшись, она всегда прислушивается к стуку сердца – все ли в порядке, бьется ли оно и как. Касается тела – не распалось ли чудесным образом за ночь, – но теперь ей так приятно лежать навзничь, неподвижно, что даже не хочется шевелить рукой, класть ее на грудь. Вид однотонной поверхности потолка успокаивает; руки все еще спят на жесткой накрахмаленной простыне. Она вспоминает.

Ее зовут Ида Март. Возраст – пятьдесят четыре года. Прописана: Варшава, улица Адама Плуга, 89, кв. 21. Идентификационный номер 50012926704. Слава богу!

Осторожно скрипит дверь, и женщина слышит мелкий перестук шагов – словно тиканье часиков. Не открывая глаз, чувствует на лице теплое дыхание. Тот белый пес. Небось смотрит на нее, дышит в щеку. Ида не реагирует, и пес тихонько отходит. Она лежит еще мгновение и постепенно осознает, где находится. Обнаруживает, что спала в колготках и блузке, а юбка валяется на полу. Вид этой юбки – из толстой серой шерсти, дорогой и модной, косого кроя, выгодно подчеркивающей фигуру, – навевает какое-то неприятное воспоминание, какая-то мысль стучится в голову, а Ида защищается от нее, заслоняется и прячется.

Около дома сидят родители. Отец, не глядя на нее, сматывает в клубки шерсть. Мать молодая, похожа на Майю, словно бы взрослая Майя – чужая, вечно отсутствующая. «Ты никогда не приезжаешь, мы тебя уже почти забыли», – укоризненно говорит она. Обиженно встает и уходит в дом. Ида идет следом, смотрит матери в спину, но ей кажется, будто та пытается убежать. Она принимается кружить по комнатам, обращающимся вдруг в бесконечную анфиладу. Внезапно Иду охватывает страх – она вспоминает, что оставила во дворе Майю, свою маленькую дочку. Она хочет вернуться, выбраться из этого лабиринта, но не знает как. Все окрашивается в синий цвет.

2

Ида слышит скрип двери и шепот, потом тихий упрек, обращенный к собаке: «Не ходи туда, спускайся вниз!» Кто-то осторожно подходит к ее кровати, садится на краешек. Ничего не поделаешь, придется открыть глаза.

Мужчина стоит в дверях с выражением печальной озабоченности на лице. Ольга – это она сидит на кровати – улыбается, маленькая, смуглая и сморщенная, в чертах ее есть что-то беспокойно асимметричное.

– Ты, детка, целый день спала, уже темнеет, и Адриану пора ехать, а он бы хотел тебя осмотреть. Вдруг что-нибудь сломано. Тогда придется вызвать врача, Адриан-то ветеринар. А впрочем, какая разница… Можно ему войти? – Не дожидаясь ответа, она зовет: – Иди сюда, Адри.

Появляется молодой мужчина – светловолосый, невысокий, на лице испарина, словно он спешил или бежал по лестнице. Примерно ровесник Майи, лет тридцати. На нем толстый шерстяной свитер, белый с голубым. Редеющие волосы прилипли ко лбу. Адриан сконфуженно улыбается, ни на кого не похожий, посторонний. Молодой. Смотрит на Иду со сдержанным любопытством. Затем профессионально заглядывает ей в глаза, оттянув нижние веки, поднимает и опускает руки, ощупывает живот. Велит сесть и пошевелить ногами. Последить взглядом за его пальцем. Иду смущает этот осмотр, как всегда, ведь все врачи – молодые мужчины, самые чуждые существа из возможных.

– Похоже, с вами все в порядке, – говорит наконец ветеринар; у него высокий голос. – Испугались, да? Вы не вставайте, полежите.

– Сама не знаю, как я себя чувствую. Пожалуй, не в своей тарелке.

– Естественно, ничего удивительного, это от стресса, само пройдет.

– Я бы хотела вызвать полицию, машина чужая.

– Да, надо этим заняться. Может, завтра?

– А сегодня? Вытащить бы ее.

– Сегодня уже поздно. И потом все равно снегопад. Но это же не к спеху, правда? Завтра я опять тут буду. И послезавтра.

– О, да я только проездом.

– Понимаю.

Мужчина смотрит на Иду с улыбкой, словно на ребенка, с которым играет «в доктора». Словно не верит ей. На прощание забавно качает головой и торопливо выходит. Энергично сбегает на первый этаж – его топот и скрип снега под ногами еще доносятся с улицы, потом слышен хрип мотора. Машина заводится с третьей попытки. Ольга подает гостье старый клетчатый халат, и женщины спускаются вниз, в кухню.

– Он ветеринар, – говорит старушка и ставит перед Идой кружку горячего молока, с явным удовольствием вливает туда мед. – В городе у него клиника. У тебя есть дети, семья?

Мед стекает тоненькой ниточкой и исчезает в белом омуте.

– Дочка, – отвечает гостья, глядя на этот коктейль; раньше она бы такое и в рот не взяла, но теперь хочется попробовать. Ложечкой размешивает молоко и делает глоток. – У меня дочка, а у нее сын.

– О, да ты еще и бабушка, – радуется Ольга.

Входит Стефан, растирая ладони, – видимо, с улицы. Вынимает из холодильника творог и сыр, выкладывает на доску, достает помидоры. Большим ножом режет хлеб.

– Я вроде должна быть очень голодной, целые сутки не ела, – отзывается Ида и замечает, что у Ольги вставная челюсть, слишком большая; неприятно смотреть, когда старушка говорит.

Супруги режут бутерброды с сыром на квадратики и медленно, торжественно отправляют в рот. Жуют, глядя на нее. «Взгляд человеческой породы», – думает Ида и деликатно отводит глаза. Она смотрит на еду, но голода не ощущает. Подходит к раковине и, подставив ладонь ковшиком, пьет воду из-под крана.

Ида думала, что старики примутся расспрашивать ее о происшествии, но те молча едят мягкий сыр с помидорами и хлебом и лишь довольно посматривают на гостью. Она отламывает кусочек сыра и кладет в рот. Но вкуса никакого не

чувствует.

– Ни разу в жизни не попадала в аварию, даже мелкую, – говорит Ида. – Я всегда езжу очень осторожно. Должно быть, дорожный знак залепило снегом, я не знала, что там поворот. Взяла у приятельницы машину, чтобы наконец съездить туда, где жила в детстве, под Левином.

– Левин? Ясно, – отзывается Стефан с набитым ртом. – Знаешь, где это? – обращается он к жене, а та морщит лоб, словно пытаясь вспомнить. – Мы туда ездили за той лошадью, помнишь? За Поляницу.

Ольга согласно кивает.

– Так ты из этих краев, – произносит она задумчиво.

– Мы жили в маленькой деревушке, в горах, но я довольно быстро уехала, – улыбается Ида и, помедлив, берет еще кусочек.

– А родители? – спрашивает Ольга.

Ида охотно рассказывает. Родители уже умерли. После смерти матери, пережившей отца на несколько месяцев, она продала дом и забыла про него. Неудобный, высоко в горах, старый и тесный. Ида добавляет, что никогда по нему не скучала, но, оказавшись несколько дней назад в этих местах, вдруг захотела там побывать.

– Я собиралась выехать из Еленей Гуры утром и вечером вернуться, но не получилось. Думала заночевать в каком-нибудь пансионате, а утром добраться до деревни. Ну, теперь-то не до того, да и машина наверняка разбита.

– Бывает. Поешь и не волнуйся, – говорит Ольга.

Но Иде не хочется есть. Жирный сыр по вкусу напоминает прелую листву. Жующая Ольга смотрит на нее пустым животным взглядом. У старушки лицо кошки или лисицы – настороженное. Ее отвлекает внезапный шорох, донесшийся из того угла, где лежит собака. Муж тоже оборачивается, словно по команде. Оба замирают, глядя на ящик.

– Хочешь выйти, да? Хочешь выйти, но сама не можешь? Так? – спрашивает старик.

Небольшой, худощавый, он берет на руки крупную собаку, поднимает; непонятно, как ей помочь. Черная кудлатая голова беспомощно повисает.

– Откройте мне, – говорит Стефан.

Ида быстро встает, придерживает дверь и выходит следом во двор. Пес, покачиваясь, стоит на снегу – печальная картина; Ида невольно отводит глаза – эта слабость кажется ей чем-то слишком интимным и стыдным. Мужчина ласково уговаривает собаку сделать несколько шагов, осторожно подталкивает вперед. «Ну, давай, иди».

Ида поправляет полы клетчатого халата и осознает, что у нее голые ноги. Но холода она не чувствует. На улице стремительно темнеет, словно сумеркам приспичило сгуститься у них на глазах. Идет снег, следов шин уже почти не видно. Собака, пошатываясь, делает пару шагов, потом, даже не пытаясь присесть, пускает струю. Темное пятно на снегу. Пес стоит над ним неподвижно, беспомощно, видимо потратив на эти несколько движений последние силы, и опускает голову.

Старик берет его на руки и с явным усилием несет домой.

– Что с ним?

– Подыхает, – говорит мужчина. – Рак. Это сука. Ина ее зовут.

– Ничего нельзя сделать? Операция, облучение?

– Уже нет. Слишком поздно.

– И что теперь? – спрашивает Ида, охваченная внезапной тревогой, паникой.

– Помрет, – покряхтывая под тяжестью животного, отвечает Стефан и исчезает в темном дверном проеме.

Ида не идет за ним, остается в темных сенях. Цепляется за перила, чувствуя, что весит сейчас многие тонны, словно вобрав в себя бремя целого мира. Пробует пошевелить ногой, но не в силах сделать даже крошечный шажок. Тело не слушается. Она хочет позвать Ольгу, однако голос тоже отказывает. Ида пытается настроить горло и язык, но воздух проходит насквозь не задерживаясь. От страха ее бросает в жар. Наверное, сердечный приступ или инсульт, а может, ее вдруг накрыло чем-то вроде сети, обездвижив. Нужно медленно, слово за словом, мысль за мыслью, осознать, что это ее ноги, что она им хозяйка. Ида сосредоточивается на них, и чуть погодя ей удается сдвинуться с места. Словно тяжелобольная, она начинает подниматься по лестнице. Уже лучше, ну вот, кошмар закончился. Ида шарит в потемках рукой в поисках выключателя, находит и поворачивает – старый, из коричневого эбонита, – пальцы не слушаются, они привыкли нажимать. И вдруг на нее накатывает дурнота.

– Извините, – говорит Ида, обращаясь вниз. – Я полежу немного.

У подножья лестницы она видит встревоженную Ольгу.

Делает еще несколько шагов, в неприятном полусвете лампочки добирается до дверей своей комнаты. И только теперь понимает, что это только страх – никакая не болезнь.

В комнате появляется Ольга, садится на краешек кровати и берет ее за руку.

– Я с тобой. Все хорошо.

Ида в ответ благодарно сжимает сухую костистую ладонь.

3

Картинка проявляется нехотя, с трудом: на фоне однородной черноты комнаты выделяется серый прямоугольник окна, который затем начинает мерцать холодным серебряным светом, словно пробудившийся от летаргического сна экран перед сеансом. Ида не может точно определить, когда она проснулась. Но

смутно знает, что будет дальше, ей кажется, что это повторение какого-то другого утра, даже не одного, а многих.

Явь от сна отличает напряженная работа ума: мысли – вечные, растяжимые атомы мира, звенящие, трепещущие, не имеющие начала и конца струны, космические снаряды, мчащиеся со скоростью света, будто посланцы иных галактик. Они вселяются в голову и сцепляются в бесконечные вереницы при помощи отдельных деталей, ассоциаций, аналогий. Вообще-то неизвестно, как именно это происходит, что удерживает мысли вместе, какие законы, да им и самим это неведомо, в законах они не нуждаются, просто подстраиваются под них, на мгновение складываются в великолепные четкие фигуры, фантастические снежные хлопья, коварно выстраиваются в цепи причин, поводов и следствий, чтобы затем в один миг все это разрушить и разбить, оборвать и перевернуть вверх дном, двинуться вперед, но не по прямой, а по кругу, по спирали, зигзагами; или, наоборот, исчезнуть, замереть, впасть в спячку и потом вдруг взорваться, хлынуть лавиной. Можно уцепиться за какую-нибудь мысль, первую попавшуюся, поймать, словно воздушного змея за ниточку, подняться вместе с ней или задержать на секунду, рассмотреть внимательно и отложить в сторону, чтобы дать место другим, еще более путаным и нахальным. Наяву они изображают порядок, лукавят; сон срывает с них маски. Ночью мысли гуляют напропалую.

Как и льющийся в окно свет, они делаются все более настойчивыми и отчетливыми, складываются в обманчивые шеренги и отправляются завоевывать день, растягивая его в разные стороны, разрезая на мелкие полоски, размусоливая. Мыслительный механизм запущен.

Одна мысль, самая напористая, расталкивает другие и в мгновение ока берет над ними верх. Это картинка: май, весна. Ида узнает запах земли, которая, выпустив первые ростки, ненадолго позволяет себе отдохнуть. Солнце врывается в маленькие окна с мутноватыми стеклами, приукрашивает дом, меняя его, делая больше, светлее. Почти горизонтальные полосы света проявляют на стенах фактуру штукатурки, раскрывают тайны пятен и потеков, прежние слои краски. Солнце – скорее ловкий торговец картинами мира, нежели их создатель.

Иде восемь лет, она учится чародейству, после обеда «готовит» зелья, источник волшебной силы. Она в своей комнате, на втором этаже. Подходит к окну и видит, что солнце извлекло откуда-то бабочку. Бабочка лежит на подоконнике,

грязная, запыленная, наверное, прошлогодняя. На распахнутых крыльях красивый симметричный узор. Не как у обычного павлиньего глаза – похоже, это какой-то редкий экземпляр. На серо-синих крыльях проступает картинка – пара глаз. Полная иллюзия: чуть раскосые глаза с серо-зеленой радужкой и черными зрачками. Неподвижная бабочка напоминает загадочно-красивый предмет, изысканное украшение тончайшей работы. Кончики крыльев как будто подрагивают. Маленькая Ида осторожно подсовывает под бабочку ладонь, чтобы та оказалась посредине, в точке пересечения папиллярных линий – вертикальной линии судьбы с линией сердца и дальше – жизни. Они с мамой часами так играют – «гадают» по руке, поэтому Ида немножко в этом разбирается. Девочка закрывает глаза и представляет, как из центра ладони поднимается живительный туман. Легкая бабочка купается в нем, туман смывает с нее зиму и пыль, наполняет жизнью. Волнение Иды нарастает; наконец она чувствует какое-то движение, легкую нервную дрожь и, открыв глаза, видит, что крылышки действительно шевелятся, пытаясь еще больше расправиться, охватить все пространство. Бабочка принимается неуверенно бродить по ее ладошке, топчется – туда-сюда, описывает круги на своем аэродроме. Ида осторожно, затаив дыхание, делает несколько шагов. Открывает окно и вытягивает руку на улицу. Холодный воздух наплывает волнами, плещет легкими дуновениями. Бабочка оживляется, почувствовав наполняющее день солнечное тепло, крылья трепещут. Сердце у Иды колотится, она замирает. Пара глаз карабкается на ее средний палец и несколько секунд исследует слои воздуха, будто дельтапланерист в ожидании подходящего момента для старта. «Лети, лети», – говорит Ида бабочке, но та сопротивляется, не слушается, шуршит крыльями, тонкими ножками еще цепляется за кожу. В конце концов, нехотя, медленно она отрывается от опоры и трогается в путь, сначала падает, но тут же взлетает вверх – Ида видит бабочку на уровне крыши: описав несколько кругов, она направляется к трубе. Краем глаза девочка замечает слева маленькую тень. Все происходит очень быстро. Коричневая птичка с оранжевым хвостом, размером с воробья, подлетает к ошеломленной бабочке и плавным движением хватает ее, словно подхваченную ветром бумажку. После чего скрывается за домом.

Ида стоит, удивленная, с протянутой рукой.

Она садится на кровати. Собирает свои вещи и начинает одеваться. Холодно, Ида кожей ощущает яблочную влажность, и теперь этот запах кажется ей предвестником гниения.

Дурацкое и скоропалительное решение – ехать смотреть старый дом в такую погоду. Идиотская сентиментальность, ведь и дома-то, может, уже никакого нет – когда Ида его продавала, он едва держался. А если и есть, там наверняка живут чужие люди, приехавшие из города на зимние каникулы, и подобный визит был бы тягостен для обеих сторон. Ну, увидела бы она сени, проколотые связками лыж и лыжных палок, рюкзаки в кухне, чужие носки, развешанные над плитой. На месте кафельной печи – чугунную норвежскую печку. А то и вообще сделан ремонт, и все изменилось до неузнаваемости.

Да и останься все по-прежнему, что с того? Куда пристроить эти картинки, с чем их увязать, как распорядиться бесполезной памятью? Натягивая юбку, она улыбается: мать ездила за Буг – повидать покинутые некогда места. Отец не хотел. Ида вспоминает немцев, которые каждое лето приезжали в их края – и смотрели, фотографировали, обследовали местность, желая убедиться, что тот канувший в Лету мир, существующий в их головах, имеет внешний якорь, что они не оказались жертвами легкой паранойи, питаясь воспоминаниями и снами под ироническими взглядами собственных детей. «Есть что-то магическое в подобной вере – будто возможно хоть на мгновение повернуть время и коснуться минувшего», – думает Ида. Основа всех религий – не воскресение, не освобождение, а обращение времени вспять, так, чтобы оно вцепилось в собственный хвост и непрестанно повторяло однажды сказанное – пусть даже невнятно, скороговоркой. Мать возвращалась из этих поездок оживленная, словно бы помолодевшая. Значит, ей удавалось вернуть прошлое? Был ли то восточный шабат, воскрешение минувшего, и это ли было причиной лукавой улыбки на материнском лице?

Ида пытается повторить ту гримасу. Осторожно опробует мышцы лица. Ищет глазами зеркальце, но в комнате ничего такого нет, и она подходит к окну. Однако лица своего в стекле не видит, а может, просто не замечает себя.

У нее на глазах из тумана проступает просторный двор, пустой, присыпанный свежим снегом, прикрытый от Идиного взгляда белым полотном. Выше, над постройками, Ида видит гору – высокую, хотя ее макушка прячется во мгле. Крутые склоны, гладкие, поросшие лишь маленькими деревцами, которые отсюда кажутся запятыми, лихорадочными штрихами на черно-белом эскизе. Они возвышаются над крышами гаражей, над постройками и праздными кранами шахты. Загипнотизированная этой картиной, Ида ждет, не обращая внимания на холод, чтобы туман поднялся еще немного и открыл наконец вершину. Но минуты проходят, а спектакль, похоже, заканчивается – серая,

разбавленная белым пелена опускается мягкими медленными складками и скрывает то, что столь неохотно показала.

Ида осторожно идет вниз – лестница крутая, плохо освещенная, на ступеньках остатки красной дорожки. Пахнет горящими дровами, и когда в следующую минуту она открывает уже знакомую дверь кухни, в лицо ударяет волна теплого смолистого воздуха. Еще витает запах вареной картошки, чуть дымящейся в кастрюле на горячей плите, и благоухает каша, почти готовая – Ида проверяет, приподняв крышку. Она бы съела только запах – булькающая каша выглядит неаппетитно, серое месиво.

Хозяев нет. И лежанка собаки, Ины, пуста. Ида выглядывает в окно, но там уже поселилась туманная серость, нашествие которой она наблюдала со второго этажа. Больница, это напоминает детство и больницу с закрашенными белым стеклами.

Родители отвезли ее туда и оставили. Страшно обиженная девочка проплакала всю ночь и весь следующий день. Потом, ослабев от плача и температуры, принялась воображать, что умерла и видит похоронную процессию и свой гроб и, конечно, их обоих: свою красивую нервную мать, теперь сломленную горем и раскаивающуюся, ах, до чего же горько раскаивающуюся, и отца, закрывающего лицо мокрыми от слез ладонями, и всех школьников, и учителей, и врачей, и медсестер. Мысль о собственной смерти приятна, она терпко-сладкая, точно молодой крыжовник, точно первые яблоки.

Через такие окна ничего не разглядишь. Так что Ида сидит за накрытым потертой клеенкой столом и осматривает помещение в ожидании, пока закипит вода. Ничего лишнего, никакой роскоши – разве что календарь: крикливые цвета, фотографии деликатесов. На март выпадает рыба на овальном блюде, ее мертвое запеченное тело оживляют желтые кружочки лимона и зеленые веточки петрушки. Зеленое и желтое на календаре – единственные яркие пятна в этой бесцветной кухне, ослепшей, с бельмами на окнах. Над плитой развешаны на крючках фаянсовые кружки: Ида снимает одну и наливает воды из крана. Жадно выпивает, потом еще, и еще половинку. Оглядываясь на чайник, отправляется на поиски туалета, выходит в темные холодные сени. Нет, не здесь – она открыла дверь в какую-то кладовку, заставленную картонными коробками. Но ведь вчера Ида была в ванной, она должна быть где-то тут. В этот момент входная дверь открывается, сперва стремительно вбегает тот большой белый пес, а вслед за ним на пороге появляется Ольга с больной собакой на руках – ледяной туман

вплывает в сени, призрачным молочным облачком торопливо протискивается мимо ее небольшого тела. Ида поспешно открывает дверь в кухню, пробормотав «Доброе утро». Старушка благодарит и добавляет:

– Последняя дверь налево.

После чего скрывается с Иной в кухне.

Ванная аскетичная, холодная. На полу стоит электрический тепловентилятор – пропеллер принимается за дело неохотно, с усилием и скрежетом.

В маленьком зеркале над умывальником Ида разглядывает свое лицо. Никаких повреждений нет, но что-то в нем изменилось, быть может, виной тому тусклое освещение, как и везде в доме. Лицо кажется ей не чужим, а другим, словно бы не заслуживающим пристального внимания, смазанным – привычный предмет, который скучающие глаза постепенно перестают замечать. Ида касается поверхности зеркала, лицо прячется под пальцами, потом возвращается, по-прежнему никакое, расплывчатое. Она начинает поочередно ощупывать руки, живот, проверяет упругость грудной клетки, мягкость шеи – не сломано ли что-нибудь, не болит ли, не бьет ли тревогу. Ноги, ступни, колени, ляжки, промежность, ягодицы, бедра. Везде тишина.

Она видит себя. Волосы до плеч, прямые, седина скрыта под краской «естественный цвет», «Велла» или «Шварцкопф», номер пять ноль, кажется, «светлая шатенка» – к такому оттенку привыкла за годы кожа лица. Шея – вся в морщинах, словно опутана тонкими нитями. Этот процесс приостановить не удалось, кремы и массажи оказались бессильны. Руки стали меньше, слабее, укрывавшая их ткань одрябла и теперь, под собственным весом, начала опускаться к более укромным местам. Груди – Ида уже редко обращает на них внимание – приняли форму слезинок, капель из мягкой нежной замши. Да, сейчас она замечает: тело устремлено к земле, словно все его части, утомившись, спокойно отказались от повседневных схваток с земным притяжением. Да, говорит тело, я сдаюсь, иду тебе навстречу, больше не сопротивляюсь, ветшаю, клонюсь, горблюсь, падаю на колени и в конце концов приникаю животом, лицом и бедрами к земле, простираю руки: всоси меня, позволь впитаться, раствориться, дай обратиться в частички влаги, просочиться внутрь и там остаться.

Ида касается груди, в том месте, где под ребрами – сердце. Больное сердце, как она полагает, сердце, готовящееся ее убить. Хорошо всю жизнь знать причину будущей смерти. Время от времени, по каким-то загадочным причинам, происходит репетиция.

Начинается с дрожи в грудной клетке. Сердце бьется там, словно запертая в коробочке пчела, что вслепую колотится о стенки, жужжит и гудит, пока не свалится в изнеможении. Это продолжается секунд десять, иногда дольше, потом сердце надолго замирает. Ида лежит в темноте, потому что обычно все случается ночью. Пробная смерть – внезапная белая тишина. Страшно, только пока сердце трепещет, это результат движения, дрожи, нарушения ритма. Эмоция – всегда производная определенного состояния тела, никогда наоборот, – обнаруживает Ида. Сердце останавливается – и страх исчезает. Тогда приходится зажигать свет – ей интересно, неужели сердце на сей раз действительно встало, не галлюцинация ли это, истерия или ипохондрия. И означает ли это, что она умерла. Подушечка пальца находит в небольшом желобке между венами знакомую точку. Пульс отсутствует, ничто не колеблет гладкую теплую кожу. Сердце и правда не бьется.

– Знаете, не может сердце остановиться. Вам, должно быть, показалось, – говорит молоденькая медсестра, заполняя карту. Однако во взгляде ее читается невольное уважение, каким мы дарим не вполне внятные нам явления.

Теперь она сидит в приемной, обхватив левой рукой запястье правой. Соответствие идеальное: запястье как раз умещается в кольцо, образуемое большим и указательным пальцами. Ида касается округлой выступающей кости, даже, пожалуй, косточки, шариком выпирающей из-под кожи. «Как она называется и что у меня с ней общего?» – задумывается она. Сердится, потому что врач опаздывает. В какой степени эта кость с неведомым именем и неясной сутью является Идой? Останется ли она собой и без этой косточки? А без какого органа – нет? Без сердца? Без мозга? Надо спросить доктора.

Она представляет свое тело изнутри, словно в научно-популярном фильме, какие показывают детям на уроках биологии. «Твоя кожа» или «Как функционирует человеческий мозг»… Ида всегда видит его сильно увеличенным, состоящим из гигантских клеток, пульсирующих частиц чего-то большего, недоступного воображению. Тело складывается из таинственных углублений и выпуклостей, наложенных друг на друга слоев, мясистых трубочек, поблескивающих поверхностей, существ, напоминающих актинии. Оно не менее

чужое, чем морское дно, коралловый риф, населенный тварями безобразными и пугающими.

Вот матка – темный коридор; в конце его, в кровавых складках плоти видна маленькая желтоватая капля, которая – наподобие жемчужины – выскальзывает наружу и летит по этому тоннелю, а его плотные стенки, оскорбившись, моментально начинают облупливаться, с них осыпаются кровавые чешуйки, обращаясь в тысячи капель липкой крови. А вот сердце – чудовищный конгломерат толстых тесемок, резиновых и упругих. Ритм их движения – ритм копуляции. Каждый такт порождает одно недолговечное мгновение. Маленький бесцветный пузырек, лопающийся прежде, чем успеешь на него взглянуть.

Выйти из стерильных помещений прямо на раскаленную улицу и закричать: «Не верьте врачам!» Не надейтесь, что однажды кто-либо из них скажет что-то действительно важное. Будьте бдительны, они лишь притворяются, что знают, а на самом деле ведут грубую игру. Нехитрый трюк: в нужный момент поднять глаза от бумаг или фонендоскопа, приложенного к чужому телу, – и победа в кармане: я знаю о твоем теле то, чего не знаешь ты; хотя я не ты, мне ведомо нечто, о чем ты не догадываешься. Нас разделяет именно знание. Я знаю, потому что я – не ты. Ты о себе ничего не знаешь, ведь познать можно лишь то, что не является нами. Так уж заведено. Ты, правда, обладаешь телом, но оно тебе незнакомо. А мне известно о нем все, потому что оно ничем не отличается от других, в которых я давно разобрался, ощупав сверху донизу, заглянув внутрь, мысленно раскроив на мелкие кусочки, чтобы ничего не упустить. Меня уже ничем не удивишь. Тела в сущности – нехитрые гидравлические аппараты. Поставить диагноз и действовать – выписать пару рецептов и направлений на новые обследования. Передать тело дальше, другому, который тоже притворится, что лучше знает.

Удобно устроившись на кушетке, Ида ждет, пока подключенные к груди и ступням электроды распознают внутренние ритмы, а после обратят их в несколько символических линий, при помощи которых плюющиеся чернилами стержни вычертят на бумаге трогательную панораму сердца. Но что Ида может сказать этим врачам? Доктор, мое сердце надолго останавливается, перестает биться, так что я чудом мертвею и чудом оживаю. Когда сердце замирает, наступает страшная тишина. Вы такой никогда не слыхали. Мощная, должно быть, исходящая из недр земли, выныривающая на поверхность, словно голова допотопного чудовища – оглядится и погружается обратно. Сердце приходит в движение – рывок, судорога, короткая дрожь и – как бы это описать технически

– мотор заводится. Маленькая смерть.

Доктор заявляет:

– У вас тахикардия, ничего страшного, вероятно, в детстве вы часто болели ангиной.

– Русские образуют уменьшительное от слова «смерть», – говорит Ольга, когда Ида возвращается на кухню. – Смерточка. У маленьких зверюшек – маленькие смерточки.

Она стоит на коленях у Ининой лежанки и улыбается. Молчаливый супруг подбросил в плиту дров и тихонько вышел. Только теперь Ида замечает, что Ольга говорит с акцентом – то ли львовским, то ли вильненским, точно она не может определить. Как Идины родители, но немножко иначе.

– По-польски это нехорошо звучит – «смерточки». – Ида видит, как старушка узловатыми пальцами раздвигает черную шерсть – ищет, куда бы воткнуть иглу. – Не смотрите так. Надо сделать укол, она страдает. Адриан говорит, не стоит экономить на обезболивающих.

– Видно, что она страдает? Откуда вы знаете, что ей больно?

– По дыханию, – объясняет хозяйка. – Послушайте, какое оно частое и неровное. Когда лекарство перестает действовать, собака стонет. Точь-в-точь как человек, какая разница? Сделайте себе кофе, вода давно закипела.

Ида наливает в кружку горячей воды. На поверхности образуется коричневатая пенка.

– А усыпить вы не думали? – спрашивает она.

Ольга не отвечает. Костистые артритные пальцы нажимают на поршень, выпуская из шприца воздух. Потом игла исчезает в черной шерсти. Белая собака стоит рядом, наблюдая за процедурой, словно врач в белом халате, контролирующий выполнение назначений. Старушка с трудом поднимается, кладет шприц на подоконник и глядит на Иду.

– Как вы себя чувствуете? Получше?

– О да, совсем другое дело. Уже все в порядке. Мне бы только сообщить в полицию и друзьям, чтобы не волновались, и поеду. Спасибо вам за все. Можно я позвоню?

Ида смотрит на телефон, который висит возле буфета, и вдруг осознает, что ее, наверное, никто и не хватился. Разве что Ингрид могла оставить сообщение на сотовом – ах, он, видимо, лежит в машине.

– Конечно, звоните, – говорит Ольга и принимается помешивать кашу в одной из кастрюль.

Ида кладет в кофе полную ложечку сахара и замирает с поднятой рукой – да ведь она уже много лет пьет несладкий. Улыбается и, взяв кружку, идет к телефону. Аппарат словно из другой эпохи – красный, пластмассовый, с круглым диском. Она задумывается: что сказать? То же самое. Мол, поворот, не вписалась, где-то за указателем на Божков и Бардо, она точно помнит. Машина упала с насыпи сразу после этого поворота. Возможно, впрочем, ее уже обнаружили. Ида касается ладонью трубки и отдергивает руку.

Ольга разминает кашу, добавляет в нее яйцо и какой-то порошок, наливает подсолнечного масла.

– Это для кого? – спрашивает Ида.

– У нас тут есть еще животные. Адриан привозит.

И сразу:

– Дочке не хотите позвонить?

Кофе обжигает Иде губы.

– Она путешествует, я, собственно, и не знаю, где ее сейчас искать.

– Вместе с ребенком?

– Да, с ребенком. Такая у нее работа – путешествовать. Она пишет путеводители.

Ида вспоминает присланную дочерью открытку, что лежит на буфете в ее маленькой варшавской кухне, картинкой вниз. Сказочно живописным рифом любуется гладкая поверхность полки. Своим неустоявшимся детским почерком Майя написала, что они оба ее обнимают, все в полном порядке, они целы и невредимы и в марте, когда начнутся муссоны, станут потихоньку собираться домой. Каждая фраза начинается с тире. Внизу, под подписью – что-то вроде кляксы. Если присмотреться, можно разглядеть неумело или торопливо нарисованное сердечко. Майя изобразила сердце. Рядом с ним – отличный рисунок черепахи, наверняка мальчик постарался. Жалко, что она не захватила открытку с собой, показала бы Ольге.

Ольга больше не задает никаких вопросов. Но думая об открытке на кухонном буфете, Ида вдруг вспоминает, что завтра ей надо в больницу на обследование. Она говорит об этом хозяйке, а та бросает:

– Сердце?

– Откуда вы знаете?

– Просто угадала. У всех проблемы с сердцем. – Вид у старушки довольный.

– Врач уверяет, что ничего страшного.

Иде кажется, что Ольга хочет что-то сказать, но она лишь энергично размешивает кашу, потом снимает кастрюлю с огня.

Минуту обе молчат, потом Ида, глядя в окно, спрашивает:

– Что это за гора – там, за домом?

Ольга объясняет: отвал, здесь когда-то были шахты.

– Под нами километры подземных коридоров, целый город. – Она почесывает белого пса за ухом. – Летом туда можно спуститься.

– На вид громадина, прямо зиккурат какой-то.

Ольга смотрит вопросительно – видимо, слово ей незнакомо, но в этот момент в дверь заглядывает Стефан.

– Иди сюда, Адри приехал, – говорит он жене, и та с явным трудом поднимается.

– Вы поешьте. Сделайте себе бутерброд. Масло в холодильнике.

4

Туман за окном вновь шевельнулся, и теперь можно разглядеть его структуру – мягкие колышущиеся ленты, плывущие слоями и завитушками, как дым, небольшие спокойные водовороты, гладкие волны с разной амплитудой – волны, наматывающиеся на преграды, образующие петли, круги и спирали. Ида наблюдает движение за окном, и в глубине, позади этих колебаний ей чудятся какие-то более темные силуэты. Она кладет телефонную трубку, которую продолжала машинально держать в руке, и достает из кастрюли дымящуюся картофелину в мундире. Картофелина горячая, шкурка слезает с нее пластами.

Так варила картошку мама, для кур – разминала и добавляла размолотые зерна ржи. Одно время у них было довольно много кур, пока лиса всех не перетаскала. Не ленилась: что ни ночь, то курица – и так целый месяц. Наконец осталась последняя, самая отважная. Весь день она проводила на ступеньках крыльца, устраивалась поближе к людям – может, от одиночества, а может, из-за лисы. Мать ее гнала, поскольку не любила кур, да и вообще птиц, брезговала перьями, яйцами и мясом. Забитых, ошпаренных кур ощипывал отец. Мать в это время полола огород или просто уходила подальше. Она носила чулки: домашние – толстые на подвязках, и выходные – тонкие и скользкие, в которых ноги делались похожими на кукольные, пластмассовые. К этим чулкам полагался пояс, резиновые челюсти подвязок крепко захватывали скрипучий нейлон и удерживали в полной боевой готовности, навытяжку. А однажды ночью исчезла

и эта храбрая курица.

Ида жует картошку; она вкусная, мягкая, сразу растекается во рту приятным теплом.

Когда мать уходила и они провожали глазами фигурку в очередном цветастом платье, почти бегом спускавшуюся вниз, в деревню, отец бросал дочери быстрый взгляд, словно прося о снисхождении: «Не ее вина, что она такая», а после снова возвращался к своим тихим занятиям.

Ничего особенного обследование не выявило. Небольшая аритмия, вероятно врожденная или последствие детских ангин.

– Вам ничто не грозит. Вы здоровы, – сказал врач и взглянул на две цифры, написанные сверху на карте: 54. – Для своего возраста – в хорошей форме.

И стал молча выписывать рецепты – легкие транквилизаторы, снотворные, общеукрепляющие.

В начале декабря, в субботу, Ида отправилась в чистую, стерильную частную клинику. Ей выдали номерок, чашку кофе и что-то вроде меню: на изящной карточке, украшенной логотипом клиники, были перечислены всевозможные обследования. Рядом тактично указаны цены. Ида сидела с карандашом в руке и помечала – токсоплазмоз, гепатит B, СПИД, холестерин HLD и LDL, TG/TGG, BUN, OB/ ESR, WBC… Большинство названий ни о чем ей не говорили. Ида подчеркивала их только потому, что они внушали страх, словно имена доисторических хищников, – тромбоциты, гематокрит, моноциты, уробилиноген, билирубин. Потом элегантная молодая регистраторша взяла у нее карту – точно заказ приняла, – назначила дату и велела прийти натощак. Вручила деликатно-забавный сосуд для анализа мочи и пожелала «хорошего дня». Такая теперь мода – желать друг другу «хорошего дня». Уходя, Ида купила в больничной аптеке маленький градусник в пластиковом футляре и решила каждое утро мерить температуру. Она занималась этим несколько дней. Результаты записывала на листочке, прилепленном к холодильнику магнитом. 36,7; 36,4; 36,6; 36,6 – ничего интересного в кривой не было, но лишь теперь, благодаря этой плавной монотонности, Ида осознала, что у нее прекратились овуляции, что море, темный внутренний океан затих и погружается в еще более черную ночь. Спокойная бесконечность воды. Волны, не способные теперь раскачать даже

ракушку.

Когда-то она уже измеряла подобным образом температуру – тридцать с лишним лет назад, студенткой. У всех в комнате были термометры, календарики с цифрами и восклицательный знак в том месте, где тепло тела каждый месяц, более-менее регулярно, заставляло ртуть подниматься на несколько делений. Сонные девичьи руки, тянувшиеся к стеклянному градуснику, разморенное тело, пронзенное столбиком ртути.

Была какая-то неловкость в том, чтобы обследовать себя холодным инструментом, прозрачной палочкой, которая на шкале отражала процесс, совершавшийся в замкнутом, темном пространстве тела. В самой необходимости пользоваться специальным прибором для исследования собственной физиологии, ибо в силу неких возмутительных обстоятельств, по какой-то идиотской ошибке природы человеческое существо ничего не ведает о своем теле. Составляя вроде с этим телом одно целое и являясь им, тыча пальцем в грудь и именуя его «я», мы понятия не имеем о том, что там, внутри, делается. Вроде бы чувствуем что-то – какие-то мурашки, головокружение и боль, прежде всего боль, но знание отсутствует, а ведь по логике вещей оно должно быть врожденным. Приходится по отношению к самой себе обращаться в предмет, вставлять в себя стеклянную трубочку, чтобы узнать, что происходит в собственной сердцевине.

Липкие безмолвные закоулки, бесформенные мясистые часы, отмеряющие время не тиканьем, а пунктуально выбрасываемыми шариками материи. Набухание ткани и облегчение. Круглое «о» соскальзывает по узким лабиринтам в будущее. Тело ничего о себе не ведает – чтобы узнать, как функционирует собственный механизм, ему требуются тесты.

Ида полагает, что не имеет со своим телом общих корней. Они – родом из разных стран. Поэтому общаться приходится с помощью термометров, томографов и рентгена.

Для обследования ей велели раздеться. Отвели в каморку без окна, с раковиной и вешалкой. Она облачилась в белое одеяние – что-то вроде пижамы или полотняного костюма – и одноразовые пластиковые шлепанцы. У нее дважды взяли кровь – из вены и из пальца. Потом вместе с какой-то молодой женщиной отправили на рентген – они с Идой не разговаривали, не обменялись ни единой фразой, словно само собой разумелось: более важные дела позволяют

пренебречь светскими нормами. Грудь сплющилась, прижатая к металлической стенке, когда медсестра поспешно оставила Иду наедине с машиной, на мгновение осеняемой духом Божьим и наделяемой способностью увидеть сокрытое, спрятанное во тьме. Другая медсестра взяла у нее сосуд с мочой, это стыдливое свидетельство химических процессов, которые происходят сами собой, по неизвестным причинам начавшись более пятидесяти лет назад. Сосуд окрестили ее именем и фамилией и поставили рядом с другими, подобными. И еще дата. 8 декабря 2003 года. Она была здесь и оставила след, позволяющий расшифровать ее суть.

Потом Иду проводили в подвал этого частного храма, в маленькое кафе. Угостили кофе и круассанами. За соседним столиком боком к ней сидела та, другая женщина. Ида видела ее в профиль – узкие, ожесточенно сжатые губы, открывавшиеся перед каждым глотком, словно рот ящерицы. Это тоже сохранилось в памяти. Они взглянули друг на друга и, мельком улыбнувшись, молча продолжали есть.

Через несколько дней она пришла туда снова. Врач, совсем юная, просмотрела стопку листочков с результатами анализов и повторила предыдущий вердикт: Ида здорова.

– Сомнения может вызвать разве что гемоглобин, больше ни к чему не придерешься, – говорила она, – а в остальном ваше тело в полном порядке, только позавидовать.

Врач, видимо, ожидала, что пациентка обрадуется, облегченно вздохнет и радостно выпорхнет из клиники в промозглый город – готовиться к праздникам. Думала, что успокоит ее этим заявлением, но, разумеется, ошиблась. Ида поблагодарила и ушла. Молодая докторша осталась в своем кабинете, словно пифия, ждать следующего пациента, чтобы сказать ему – возможно – то же самое. Или, напротив, готовилась вынести приговор и той женщине с мордочкой ящерицы сообщит: вы смертельно больны и умрете. Помочь вам ничем нельзя. Она бы вполне могла говорить каждому, кто садился перед ней: вы умрете, и вы умрете, и ты умрешь, милая моя детка, и я тоже умру. Все мы умрем и должны к этому готовиться, надо создать общества поддержки умирания и организовать специальные курсы, чтобы не ошибиться хоть в этот последний раз. На уроках физкультуры следовало бы отрабатывать, как умирать, как осторожно погружаться в темноту, терять сознание и как опрятно выглядеть в гробу. Должны проводиться мастер-классы, наверняка нашлись бы желающие

подарить свою смерть кинокамерам ради создания учебных фильмов. Программа занятий включала бы еще и этнографию, всё о смерти, все о ней представления: почему она является то в женском, то в мужском обличье, куда мы отправляемся после кончины и отправляемся ли вообще. Нужно ввести выпускной экзамен по танатологии, как сейчас сдают по биологии, и тесты в конце четверти, и оценку в аттестате. «У меня, похоже, пара выходит по танатосу», – жаловались бы школьники, покуривая в туалете запретные, смертоносные сигареты, а потом до утра зубрили всевозможные определения, графики и числа. И каждый был бы благодарен за то, что ему напомнили, обучили.

Идиному сердцу нет дела до результатов обследования. Время от времени оно слегка бунтует. Ночью на мгновение останавливается, словно в знак протеста – надоело взбивать эту пену.

Со двора доносится шум, скрипят ворота овина. «Вот куда, видимо, то и дело бегают хозяева», – думает Ида. Она подозревает, что в этих сараях они кого-то разводят, может, лис на мех, может, норок или просто кур. Для них и варилась каша. Ольге, наверное, столько лет, сколько было бы Идиной матери. Нет, она младше, пожалуй, чуть младше. В доме пусто. Ида греет руки над горячей конфоркой: такая плита – просто клад. Не забывает подбросить дров и долить воды в чайник. Ина приподнимает голову и следит за ее движениями.

Ида подходит к окну и чувствует на себе собачий взгляд.

– Чего ты хочешь? – спрашивает она.

Собака переводит взгляд с чайника на миску. Пустую. Ей хочется пить.

– Ты будто сказать не можешь, – замечает Ида и улыбается: что за чепуху она несет. Наливает воды и ставит перед собакой. Но та не реагирует – смотрит на миску, словно пытаясь сдвинуть взглядом, и тогда Ида осторожно поднимает ее голову. Она ощущает, как слегка подрагивает под пальцами собачья шея, чувствует тяжесть Ининой головы. Животное замирает, держа нос над самой водой, словно собирается с силами, потом пару раз неловко чмокает, разбрызгивая воду, и вновь застывает в прежнем положении. Ида одной рукой забирает миску, другой укладывает кудлатую голову на подстилку. Собака вздыхает. Тогда Ида гладит ее по, можно сказать, щеке.

Возвращаются хозяева. Топают сапогами, стряхивая снег, – снова метель. Туман распался на мелкие частички и обратился в снежные хлопья. Ольга копается в холодильнике, вытаскивает все тот же сыр, баночку хрена, майонез. Ида старается помочь в этих хлопотах, предшествующих трапезе, – наводит порядок на столе.

– Я хотела позвонить и забыла. Не знаю, где была моя голова, – говорит она. – Мне сегодня не спалось. На рассвете проснулась – и все.

– В это время такой странный свет, вот тебе и стало не по себе, – неторопливо замечает Стефан.

Ида внимательно смотрит на него, ожидая объяснения: если улыбнется, значит пошутил, если останется серьезным – значит, просто чудак или у него проблемы с памятью – может, от старости, хотя на склеротика Стефан не похож. Встречает взгляд Ольги. Та делает едва заметное движение бровями, явно означающее кавычки: мол, бери в них все его слова.

Мужчина добавляет в кастрюлю с кашей собачьи консервы и перемешивает деревянной ложкой.

– По-моему, вы отлично выглядите. У нас тут хороший воздух и хорошая вода. Люди молодеют. – Стефан берет кастрюлю в охапку и, шаркая, направляется к выходу.

Ида открывает ему дверь.

– Возвращайся, будем завтракать, и шапку надень, – кричит жена вслед.

Женщины режут сыр, выкладывают на тарелку. Потом соленый огурец.

Ольга спрашивает:

– Ты что здесь делаешь? Наверное, уже рассказывала, но я забыла. Ты из Вроцлава?

Ида отвечает:

– Из Варшавы.

– Ага, а что случилось?

Ида терпеливо рассказывает все заново.

– А родители, родители твои еще живы? – интересуется Ольга.

– Нет, умерли. Дом продан, – отвечает Ида, которую вдруг охватывает судорожное желание убежать. Она мысленно проверяет, все ли при ней – ключи, документы, вспоминает, где висит пальто. Бросает взгляд на телефон – надо позвонить. Пора двигаться, она уже пришла в себя. Хватит с нее этих людей, от которых путаются мысли. Ида решительно направляется к календарю с рыбой: так, сегодня суббота. Суббота или пятница? В понедельник ей надо быть в Варшаве у врача. А в среду – на работе.

Ольга заваривает чай: один пакетик на два стакана.

– А мне кажется, мы всегда здесь жили, – говорит она. – Столько людей уже прошло через этот дом. Я ему предлагала, – старушка указывает подбородком на дверь, – сделать надпись «Агротуризм» и выставить у дороги, с шоссе-то ведь дома не видно. Но как-то все добираются и без вывески. А чем ты там занимаешься, в этой Варшаве? Семья есть? На вид ты женщина умная.

Ида улыбается, обрадованная неожиданным и старомодным комплиментом, и думает, что надо бы не забыть заплатить старикам за ночлег и еду, должно быть, это их хлеб – заплутавшие путешественники вроде нее. Вторую часть вопроса она игнорирует. Перед уходом решает еще попить чаю. С любопытством поглядывая на нее, Ольга ест хлеб; челюсти двигаются словно сами по себе, отдельно от головы.

– Я вожу экскурсии.

– Есть такая профессия? – удивляется старушка.

В этот момент входит Стефан – вернее, только заглядывает в дверь и говорит жене: «Поди сюда». Серьезно и словно бы поторапливая, как будто случилось

что-то важное. Ида замирает с открытым ртом – ей кажется, что так уже было сегодня или вчера, что она участвует в странном, растянутом во времени и рваном dej? vu. Мотает головой, словно в ухо попала вода, которая искажает звуки, накладывает на них постоянный гул, – ее надо обязательно вытряхнуть.

Ольга послушно встает из-за стола, надевает меховую вышитую безрукавку, вязаную шапку и выходит. Дело, видимо, не терпит отлагательства.

Дальше тянуть нечего. Ида набирает 997 – номер полиции, который запомнила с телеэкрана, из передач, неумело реконструирующих преступления. Слышит длинный гудок, словно пронзительный сигнал пустоты. Трубку никто не берет. Она пробует еще раз. Звук длинный, печальный, будто свистит вдали локомотив. Должно быть, отсюда всюду далеко, даже по телефону. Иде вдруг кажется, что там, на другом конце провода, ответит Николин – произнесет своим вялым усталым голосом: «Слушаю».

Так Ида мысленно называет своего мужа, всегда по фамилии: Николин – раньше это звучало по-свойски, раньше – это когда они были молоды и носили одинаковые джинсы и одинаковые прически. Теперь «Николин» звучит сухо, деловито: так оно и есть – фамилия знакомого. В случае необходимости они встречаются в кафе, где он все равно просиживает первую половину дня. Вход туда с центральной улицы, из толпы, из гула автомобилей, через темноватую подворотню в мир внезапно умолкающий, угомонившийся, слегка отдающий сыростью, и запах этот предполагает наличие скверика или садика, которые на самом деле сводятся к горшкам с вьющимися растениями, разгораживающим летом столики.

Николин всегда сидит внутри, в самом душном и темном углу, где читать можно только при свете маленького бра над головой.

Ида издали замечает его бледное, уже слегка обвисшее лицо и светло-пепельные, поредевшие волосы. Каким-то чутьем он всегда угадывает появление бывшей жены и следит за ней из сумрака своего угла. Николин уверен, что Ида его еще не видит, во всяком случае, с такого расстояния не сможет разглядеть выражение лица. И всегда ошибается, потому что на самом деле Ида успевает заметить откровенно неприязненную гримасу, пока Николин не успел ее стереть, раздвинув губы в улыбке – не слишком сердечной, не нарочитой, вполне дружеской, обычной. Ида видит лицо мужа еще не предназначенным для постороннего взгляда и знает, что? на нем написано:

гадливость, тень злости, отвращение, не лично к ней – ко всему, что не является им.

Николин носит вещи несочетающиеся или подобранные словно в знак отрицания какой бы то ни было гармонии: рубашка, вязаная безрукавка, шарфик, прикидывающийся фуляровым платком, сверху пиджак с заплатками на локтях, и мешковатые вельветовые брюки, да еще и платочек в нагрудном кармане. Всего в избытке, чудаковатая элегантность человека, одевающегося бездумно. Николин откладывает книжку и смотрит на Иду с улыбкой, теперь той, приветливой, протягивая руку к пиву, которое цедит уже целый час.

Обычно это он звонит первым и обычно просит о какой-нибудь мелкой услуге: порекомендовать врача, одолжить денег, составить компанию – на очередной спектакль, ужин, лекцию, где ему категорически не хочется присутствовать в одиночестве. Ида приходит скрепя сердце, измотанная, между экскурсиями, часто с хозяйственной сумкой. Речь, в сущности, всегда об одном и том же: я беспомощен – твердят его клетчатый пиджак, лысеющая голова, платочек в нагрудном кармане, усталая складка возле губ, пепельно-серые веки, небольшие аккуратные кисти рук, на пальце мозоль от авторучки, – я растерян и беспомощен, не знаю, как со всем этим справиться, сосед сверху залил ванную, я потерял страховой полис, у меня повысился сахар, я не сплю по ночам, думаю о самоубийстве, я стар, неудачно прожил жизнь, забери меня домой, позаботься обо мне, я болен, слаб.

Но губы сообщают лишь конкретные факты: сорван кран с горячей водой, не знаешь ли ты мастера, не договоришься ли, пускай придет, я сейчас все время дома. «Я дам тебе телефон», – говорит Ида. «Разумеется, я сам позвоню, – заверяет Николин и добавляет: – Можно зайти на чашечку кофе?» Ида пожимает плечами. «Я опять уезжаю», – говорит она. «А когда вернешься?» – допытывается он.

Приходит с газетой, садится в кухне на свое прежнее место, Ида что-то режет, готовит. Николин сидит, разложив на ее столе «Тыгодник», большие листы стекают на пол. Кухня слишком тесная – собой и этой разложенной газетой он занимает все пространство, вдыхает весь воздух, забирает свет. Они разговаривают тихо, вяло. Выработавшийся с годами рефлекс: встреча автоматически вызывает усталость. Ида кормит Николина, ставит на эту газету, прямо ему под нос мисочку с супом. Он благодарно улыбается и молча ест. Словно птенчик, вымахавший до немыслимых размеров, однако утративший

способность покинуть гнездо. И чем больше в улыбке благодарности, чем вкуснее суп, тем больший Иду охватывает гнев. Это гнев человека, пригвожденного к месту, лишенного возможности пошевелиться. Ярость. Она старается держать себя в руках: ждет, пока Николин закончит, забирает у него пустую миску. Кладет в раковину и говорит, что ему пора. Он молча, без единого вздоха снимает с вешалки куртку и уходит. Произнеся лишь что-то вроде: «до свидания» или «будь здорова». Но неразборчиво, скороговоркой.

Когда Майя поступила в университет, они разменяли квартиру на две поменьше. Первый год Николин приходил за своими книгами, которые остались у Иды в коробках, брал по три-четыре, чтобы оставался повод зайти. Говорил, что дома у него все полки заняты. Заглядывал в холодильник, они вместе перекусывали, потом Николин уходил. Топтался на пороге, жаловался.

Николин с незапамятных времен изучает китч, двадцать лет назад собирался писать об этом кандидатскую диссертацию. Теперь он преподает историю, но все равно повсюду ищет китч. Анализирует, разглядывает на свет, ненавидит и обожает одновременно. Николину никогда не надоедает эта игра – любое явление рассматривать как потенциальный носитель китча. Он занимается этим спокойно, с упорством, методично занося наблюдения в блокноты своими небольшими женственными руками и в виде афоризмов подбрасывая ученикам.

Китч – пустое поверхностное подражание тому, что было реально пережито, открыто впервые и единожды. Китч – вторичность, копирование, мимикрия, пытающаяся использовать уже существующие формы. Китч – имитация чувств, паразитирование на элементарном, примитивном аффекте и наполнение его ограниченным содержанием. Любая вещь, притворяющаяся другой с целью вызвать эмоции, есть китч.

Любая подделка – нравственное зло, поэтому китч опасен. Китч для человека страшнее всего, даже смерти.

Ида подозревает, что за этой темой стоит нечто другое, символическое, и безнадежно погрязший в ней Николин совершает мистерии, приближаясь к глубокой мрачной тайне, где китч – только предлог, ключик.

Люди встречаются лишь затем, чтобы увидеть, насколько они несхожи. С теми, кто отличается от нас сильнее прочих, мы остаемся дольше. Жизнь будто

желает продемонстрировать все, что нами не является. Каждый очередной день с Николиным – свидетельство того, что расхождения непреодолимы. Восемнадцать лет совместного существования.

Ида глядела, как он делает свои короткие пометки на карточках – максимум два слова, точно шифр. Опаснее всего эмоции с их маниакальным стремлением к самовыражению, они нетерпеливы, не в силах дождаться нового, оригинального – а потому с разгону бросаются в избитые формы. Чем острее чувство, тем больше искушение использовать уже использованное – чем сильнее болят ноги, тем скорее они найдут старые разношенные тапки. «Китч есть насилие над эмоциями», – записывает Николин мелкими, отдельными буковками, напоминающими ряды хромосом.

Вот они стоят в кухне, друг перед другом. Очень долго. Меряются взглядами – не способные ни на какую другую борьбу. Ида видит гримасу, моментально исчезающую под удивленно приподнятыми бровями. Но она успевает запомнить это мимолетное выражение, мелькнувшее и тщательно замаскированное. Пустое чужое лицо. Всякая любовь есть китч, нет для нее новых форм – все использованы тысячекратно. Нет формы – нет и любви. Ида ощущает боль где-то в области сердца, потому что Николин мертв.

«Есть люди, которые занимаются не своим делом», – думает она. Примись человек за ту, другую тему, о существовании которой он даже не догадывается, но которая важна для него по-настоящему, сумел бы сказать что-то важное. Но, не распознав свою тему, мы полностью отдаемся чужой. И умираем еще при жизни.

Трубка заливается долгим монотонным гудком. Никто не отвечает. Разве так может быть?

Псина вдруг вздыхает, потом, слегка покачиваясь, садится. Смотрит прямо перед собой равнодушным взглядом. Дышит.

– Хочешь выйти? Чего тебе?

Собака не реагирует. Ида снова подставляет ей миску. Собака сперва безучастно нюхает воду, потом, словно неожиданно вспомнив, начинает жадно лакать, обрызгивая подстилку и Идину юбку. Так же внезапно останавливается и

неловко укладывается в прежнюю позу. Лежит на боку и дышит быстро, поверхностно. Глаза прикрыты – Ида не уверена, видит животное или глаза его уже слепы и в состоянии созерцать лишь некие внутренние собачьи картины. Ей кажется, что нехорошо все время лежать вот так, не шевелясь, и она бережно передвигает собаку; в ответ раздается стон – почти человеческий.

– Я только хочу тебя перевернуть. Так больно? – шепчет Ида.

Она осторожно ставит Ину на ноги и медленно кладет на другой бок; тело послушно поддается – никакой реакции, ни малейшей попытки сменить позу, устроиться поудобнее. Женщина гладит собаку по голове и ушам, один глаз дергается, веко чуть приподнимается – Ида понимает, что та ее заметила.

Ида возвращается к столу и раскрывает телефонную книгу, что лежит здесь со вчерашнего дня, словно специально для нее приготовленная. Она позвонит еще раз, сначала в полицию, потом в дорожную инспекцию. На работу. И еще Майе – оставит сообщение на автоответчике. И Ингрид. Скажет им: знаете, что со мной случилось? В аварию попала. Въехала в дерево, разбила машину. Бум! Ха-ха. Со мной все в порядке, надо только немного прийти в себя, я остановилась у одной пожилой пары, побуду здесь, пока со всем не разберусь, максимум до завтра. Они очень милые, разводят кур или что-то в этом роде. А так все нормально. Тра-та-та. Ида вдруг чувствует приятный прилив эйфорической энергии, словно очнулась от мучительной дремы.

В этот момент подъезжает машина, знакомый дизельный мотор, синий «вэн» их внука. Хлопают дверцы. Ида различает голоса всех троих. Выглядывает в окно и видит Адриана – он открывает задние двери пикапа и вытаскивает оттуда большие ящики с отверстиями в крышке – в таких обычно перевозят кур. Их осторожно, по очереди вносят в сарай. Там же скрываются и люди.

Туман рассеялся, светит ласковое, щедрое и великодушное солнце. На водосточных трубах уже образовались маленькие сосульки, сверкающие, будто лезвия ножей. Теплеет – может, начнется наконец настоящая весна. Ида подходит к другому окну. Гора вырастает из серых зарослей, примятых снегом, – идеально симметричная, почти голая, лишь с белыми метками березок. Прорезанная наискосок двумя ровными линиями дороги, поднимающейся к вершине по спирали. Да, теперь видно, что это отвал, вон справа железные фрагменты бывшей узкоколейки, по которой выезжали вагонетки, чтобы вывалить извлеченное из недр, но не пригодившееся. Значит, гора эта должна

иметь подземный эквивалент, свою антитезу, отрицательную гору, полое пространство. Иде она представляется такой же пирамидой, оплетенной витками дороги, – только там, под землей, вершина устремлена вниз и путь ведет туда же. Эта подземная антигора насыпана из вакуума и обращена к центру Земли, она висит, уцепившись с изнанки за поверхность, словно капля небытия, сталагмит пустоты. Тот, кто карабкается по склону отвала, одновременно спускается, удваиваясь. Этот, материальный, направляется по позитиву вверх, к небу; тот, бесплотный, состоящий из пустоты, двигается вниз, к сердцевине Земли.

5

Она машинально набирает варшавский номер – код двадцать два и потом семь выученных назубок цифр. Длинные гудки. Никто не отвечает. Ида видит авторучки, стопку буклетов, путеводитель по Вене на немецком языке, который просматривала перед отъездом, и вдруг понимает причину молчания на том конце провода – она звонит к себе домой. Ида вешает трубку, но настойчивый, неприятный свист не смолкает – это чайник. Она снимает его с горячей плиты. Сразу становится тихо. Со двора не доносится ни единого шороха, будто белый туман проник внутрь, приглушил все звуки, размыл контуры предметов – мягкая белая вата. Ида склоняется к собаке, внезапно догадавшись, что та умерла – вот почему ничего не слышно. Однако нет, дыхание слабое, но есть; тогда, в поисках привычного шума, Ида стучит ложечкой по краю металлической раковины. Раздается обычное звяканье, но в этой тишине оно кажется театральным, словно бы нарочитым. Воздух полон деталей, даже безмолвие – звук: чем внимательнее в него вслушиваешься, тем оно кажется более сложным, состоящим из вибраций, задевающих и убивающих друг друга. Еще раз, бум-бум, звук глубокий, словно у колокола, гул которого распадается на миллионы мелких нот.

В детстве, когда они с отцом ездили на поезде в город за пряжей для его килимов[2 - Килимы – украинские, молдавские, болгарские шерстяные безворсовые ковры ручной работы с геометрическими или цветочными узорами.], Ида всегда садилась к окну и воображала, будто ее взгляд – нечто материальное, например, кисточка, гибкий хоботок, способный касаться всего, на что она смотрит, и даже оставлять свой след – вроде знака или печати, раз и навсегда помечающей увиденное.

Глядеть подобным образом – тяжкий труд, ведь приходится подмечать каждую деталь, внимание должно быть сконцентрировано и натянуто, как струна, да еще надо все это удостоверить словом, кратчайшим из возможных и одновременно самым сильным: следует говорить «да» всему увиденному. Да – телеграфный столб, да – белый шлагбаум на переезде и две машины – да, да, домик путевого обходчика, красная шапка с помпоном, собака, канава, одинокое дерево в поле, старая покрышка, всему – да. Жульничать нельзя. Прервешь вдруг этот процесс – и внешний мир, наблюдаемый из поезда, может сломаться и рассыпаться. Это большая ответственность. Другие люди, конечно, даже не догадываются, что сидящая у окна маленькая девочка поддерживает мировой порядок. Они полагают, что порядок сей дан Господом раз и навсегда и ничто ему не грозит. Им и невдомек, что своим покоем человечество обязано этому ребенку.

Ида много трудилась во время каждого путешествия, пока поезд мчался сперва по горным долинам, затем по пустой, плоской, монотонной равнине, помечала каждое дерево, каждый дом, мостик, заросли камыша, заброшенные развалины и стоящую вдалеке водонапорную башню, всё. Обозначала и пристраивала в своей памяти, шепча при этом «да, да, да», словно часы, отмеряющие деталями мировое время. Отец, видевший, как дочка шевелит губами, поглядывал на нее с некоторым удивлением, но ни разу не спросил, чем Ида занята.

Сдалась она на вроцлавском вокзале. Здесь оказалась просто вакханалия деталей, и ее «да» было бессильно. «Да», мира слишком много. Потом, когда Ида пыталась вспомнить, что же она там видела, на ум приходили только голуби и их топотание по стеклянной крыше вокзала.

Ее взрослая работа, ее профессия заключается в том, чтобы смотреть и показывать другим. И, конечно, говорить, ибо слово помечает увиденное.

Слова… Ида укладывает их в голове каждое утро, округляет, полирует. Невольно заучивает наизусть. Словно компьютерный вирус, они проникают в мозг и воспроизводят сами себя, цепляются за другие, прилипая к ним, точно назойливые песенки и стишки. Но фразы должны быть совершенны. Ее работа – объяснять людям то, на что они смотрят. Без Иды им не понять увиденного, они рассеянно пройдут мимо, погруженные в себя, потому что там, внутри них, все начинается и все заканчивается. Конечно, говорит она не от своего имени, рассказывает не от себя лично, это было бы слишком трудно; Ида скорее транслирует информацию, собранную для других людей в книгах, которые они

не прочтут, в научных трудах, с которыми никогда не столкнутся. Она – посредник. Ида представляет своим слушателям нечто очень большое, разросшееся, коллективное, в сущности, безграничное. Она старается использовать простые предложения, даже если хочет выразить что-то заведомо туманное и неясное. Временами, устав сама и заметив, что публика начинает разбредаться, словно стайка цыплят, отвлекаться и капризничать – мол, перекусить бы и отдохнуть, – Ида фантазирует. Это помогает удержать их внимание еще на какое-то время. Фразы, которые она лепит в своей голове, – словно шарики из мягкого теста. Фразы, которые она мысленно перекатывает, ей не принадлежат, она производит их на заказ.

Ида водит экскурсии. Она работает в крупном туристическом агентстве «Сердце Европы». Или, если хотите, «The Heart of Europe». Название претенциозное, на вырост, как и многое в этом городе. Офис расположен в высотном здании, которое носит гордое имя на каком-то чудно?м языке – «Саксонский Гарденс». Где находится сердце Европы, никто точно не знает, с этим еще не определились, а агентство специализируется на пяти городах: Варшава, Краков, Прага, Берлин, Вена – огромный неправильный пятиугольник, кабалистическая печать на карте. «Сердце Европы» организует туры, и эта пятерка городов оказывается порцией совершенно неудобоваримой: туристы путают соборы, музеи и исторические центры, забывают названия рек. Слава богу, что есть сувениры – кружка с портретом Кафки и футболка с надписью «Checkpoint Charlie»[3 - Бывший пропускной пункт Берлинской стены.] позволяют отличить Прагу от Берлина и правильно соотнести кассету, на которой записан венский вальс, с Веной, а клезмеров – с Краковом.

Такие туры по пяти городам продолжаются восемь дней и рекламируются в цветных буклетах, стопка которых лежит на письменном столе в Идиной квартире. Ярко-красными буквами на них начертан слоган фирмы: «Послушай, как бьется сердце Европы!»

Первый день: утром выезжаем из Варшавы, к обеду прибываем в Краков. Вечером следующего дня отправляемся в Вену, на четвертый день Вена остается позади, а мы перемещаемся в Прагу, через два дня – Берлин, и всё, прямым ходом обратно в Варшаву. Хозяину фирмы удалось привлечь к сотрудничеству турагентства всех этих городов, и теперь путешествие может начинаться в любой точке, но двигаться следует непременно по часовой стрелке; вот так бизнес и крутится – в буквальном и переносном смысле.

Выглядит это всегда одинаково – они тянутся за ней. Женщины более энергичны и бодры, с самого утра готовы к покорению мира. По дороге в музей рассматривают витрины закрытых магазинов. Мужчины ошеломлены, эти, вероятно, с большим удовольствием остались бы в гостинице и занялись ревизией телеканалов. Часть группы не успевает перейти через улицу на зеленый свет. Ждут отставших. Ида держит зеленый зонтик, они сбегаются к ней, как цыплята. Веди же их, зеленый зонтик.

Два громадных музейных здания стоят друг против друга, словно пара глухих, вынужденных следить за движениями губ собеседника. Один – музей природы, другой – культуры. В первом – скелет динозавра и коллекция тысяч, миллионов ракушек, подобранных на пляжах по всему миру. Минералы, добытые из земных недр, выложенные в витрины и описанные малюсенькими буковками. Некоторые считаются ценными и благородными, а потому носят конкретные лаконичные имена: нефрит, малахит, селенит. Иные же – курьезы, цена им невелика, это всего лишь иллюстрация какого-нибудь незначительного факта: вот каменный отпечаток листа папоротника, а вот – утопленная в янтаре травинка. Зал чучел. Стеклянные глаза, в которых отражаются прямоугольники окон, словно эти полые трупы все еще мечтают сбежать. Шерсть тусклая, кое-где видны проплешины, а то и швы, соединяющие части выпотрошенных тел. Старательно расправленные крылья бабочек – маленькое брюшко выглядит всего лишь нескладным дополнением, специально чтобы было куда воткнуть булавку. Бивни мамонтов. Лапа гориллы. Солитер в формалине. Кожа питона. Уголь и слюда.

Второй музей опоясан огромным синим баннером – новая выставка. Природой экскурсанты, как правило, не интересуются, предпочитая культуру. Не надо им высушенных, набитых, препарированных клочков натуры. На то имеется телевидение – там все покажут лучше, прямо как в жизни. Нефритам, малахитам – место на ювелирных выставках. Животным – в зоопарке. Ракушки, расфасованные в удобные пакетики, можно теперь купить в цветочных киосках и магазинах «Всё для ванной».

Они поднимаются по широким ступеням и на мгновение останавливаются – ждут, пока Ида оформит групповой билет. Их экскурсия, видимо, одна из первых, в здании еще пусто, шаги отдаются эхом где-то на заполненных картинами этажах. Из музейного кафе пахнет только что сваренным кофе.

Того, что она хочет им показать, сразу не увидишь. Нужно пройти залы иероглифов, саркофагов, надгробий. Затем миновать картины на досках,

цветные и гладкие – взгляд скользит по ним, не в силах удержать внимание. Богоматери все одинаковые – нежные и округлые, красивые или некрасивые, но без ног. Святые бюсты вырастают из складок материи. Младенцы кажутся непохожими на современных.

Все увидеть невозможно, об этом они уже предупреждены. Надо выбрать три-четыре картины. Их слишком, слишком много. Всё в изобилии, и всё происходит слишком быстро. Туристы сосредоточенно шагают, и Ида чувствует, что в них рождается извечное желание обзавестись хотя бы частичкой собственного мнения, потому что смотреть без оценки – все равно что просто тренировать взгляд, словно на приеме у окулиста, который велит назвать буквы. На лицах читается мольба как-нибудь тактично подсунуть им кусочек суждения. Без этого они растерянны и беспомощны.

Свою внутреннюю магнитофонную пленку Ида включает только в зале с Брейгелями. Подзывает группу взмахом зонтика, который помогает им остановить разбегающиеся глаза. Ида объясняет, как надо смотреть. Вычерчивает в воздухе линии композиции, пальцем указывает скрытую симметрию. Экскурсанты сосредоточиваются, словно близки к решению трудной математической задачи – результат уже, в сущности, известен, хотя и не назван. Они почти у цели, кое-кто подходит к холсту вплотную, надеясь разглядеть упрятанную в незримой фактуре красок последнюю, необходимую для получения ответа подсказку. Отступают на несколько метров, возвращаются.

– Вас ничего не удивляет? – спрашивает Ида и делает паузу.

Туристы всматриваются в картину. Что-то такое они видят, незнакомое – шапку, деревянный черпак, туго обтягивающие ногу носки, все здесь чудное, мир упрощен, но полон деталей, немножко как в телевизоре, но они не уверены, это ли Ида имеет в виду. Медленно качают головой, выжидающе глядят на нее.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Свободные комнаты (нем.). (Здесь и далее – прим. перев.)

2

Килимы – украинские, молдавские, болгарские шерстяные безворсовые ковры ручной работы с геометрическими или цветочными узорами.

3

Бывший пропускной пункт Берлинской стены.

Купить: https://tellnovel.com/tokarchuk_ol-ga/poslednie-istorii

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити